

АЛИНА ЛИКС

ЛЕКАРКА ДЛЯ ВОЕННОГО КАНЦЛЕРА



Алина Ликс

Лекарка для военного канцлера

«Автор»

2026

Ликс А.

Лекарка для военного канцлера / А. Ликс — «Автор», 2026

Я умерла в своей больнице и открыла глаза в чужом теле — на полу, отравленная, за час до того, как за мной придут. Восемь лет выездов на вспышки, и вот всё, что от врача осталось: чужое имя, руки и умение считать. Я приписная лекарского двора, и моё слово в протокол не заносят. А в бараке умирают люди из северного гарнизона, и двор называет это гневом драконов. Это не гнев. Я знаю, откуда оно идёт, и знаю, как остановить, — и не могу сказать так, чтобы записали. Значит, сначала право говорить. Потом всё остальное. Военный канцлер, от которого зависит каждая моя бумага, связан клятвой, которая не даёт ему меня защитить. И смотрит так, будто считает эту клятву слишком дорогой.

© Ликс А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Чужие руки.	5
Утро разбирательства.	8
Чёрный барак.	12
Как считают воду.	16
Что стоит бумага.	20
Канон говорит.	24
Сколько.	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Алина Ликс

Лекарка для военного канцлера

Чужие руки.

Кислород сушил ноздри. Я лежала в своей палате, на своём этаже, и считала разводы на потолке.

Сорок один. Сорок два.

Считать оказалось проще, чем думать.

Диагноз я поставила себе сама, на четвёртые сутки после очага, когда заломило поясницу. Коллеги подтвердили и отвели глаза. В нашем деле это и есть приговор — не заключение, а то, как перестают смотреть в лицо.

Юля меняла мне капельницу и говорила про дачу. Про то, что клубнику в этом году побилло, а смородина пошла. Я слушала и отмечала, что у неё дрожат руки и она третий раз промахивается мимо порта.

Сказать ей я уже не могла. Трубка мешала.

Сорок три.

Дышать стало труднее не сразу, а как всегда — ступеньками. Сначала не хватает на фразу. Потом на полфразы. Потом перестаёшь замечать нехватку, и вот это самое паршивое, потому что мозгу к тому моменту уже всё равно.

Юля наклонилась и поправила мне одеяло на плече. Одеяло было ни при чём. Ей просто нужно было что-то сделать руками.

Я хотела сказать, что это нормально. Что я бы на её месте тоже поправляла одеяло.

Сорок четыре.

Потолок ушёл.

* * *

Меня вывернуло раньше, чем ко мне вернулась способность соображать.

Тело вернуло меня в сознание приступом рвоты. Я оказалась на четвереньках в темноте и держалась за холодные доски. Доски были неструганные. Между ними набилась грязь.

Ни трубки. Ни капельницы. Ни кислорода.

Новый спазм пришёл почти сразу, и вот это оказалось знакомо.

Я села на пятки и вытерла рот тыльной стороной ладони.

Ладонь была не моя.

Узкая, с обкусанным ногтем на среднем пальце и с мозолью у основания большого. Такая мозоль набивается о черенок. У меня никогда в жизни не было такой мозоли.

Где-то очень далеко, за грудиной, началось то, что я умею подавлять. Я взяла эту руку другой рукой и нащупала лучевую артерию.

Раз. Два. Три.

Пульс шёл редкий.

Я досчитала до пятнадцати и умножила. Сорок восемь. Может, пятьдесят — на восьмом ударе сбилась и начала заново.

Не тахикардия. Брадикардия.

И это меняло всё, потому что рвота с частым пульсом — одно, а рвота с редким — совсем другое, и второе гораздо хуже.

Я провела языком по нижней губе. Губа отзывалась глухо, как после укола. Онемение шло от углов рта к подбородку, ровное, симметричное, без перекаса на сторону.

Холодный пот. Ладони мокрые, лоб мокрый, а по спине тянет ознобом.

Плошка на столике двоилась и расплывалась по краям, и я закрыла один глаз, потом другой. Двоилось обоими.

Рвота. Брадикардия. Онемение вокруг рта. Потливость. Зрение поплыло. Давление, судя по тому, как темнело в глазах при попытке поднять голову, где-то в подвале.

Растительный алкалоид. Из тех, что бьют по проводимости.

В голове аккуратно, как из ящика картотеки, выехала карточка: сильный растительный яд. И следом вторая, служебная: порядок лечения, бесполезный без лекарств и приборов.

Я обвела взглядом комнату.

Ни лекарств. Ни катетера. Ни физраствора.

Плошка с фитилём на низком столике, жаровня в углу, циновка, стена из тёмного дерева. Я стояла на коленях в чужой комнате, отравленная тем, чего мне нечем лечить, и это оказалось первое, что я узнала об этом месте.

Второе я узнала через секунду, когда попыталась встать.

Пол ушёл вбок. Я успела опереться и легла обратно, на спину, и подтянула ноги на низкий сундук у стены — выше сердца.

Давление. Ноги вверх. Единственное, что можно сделать бесплатно.

Так я и лежала, глядя в чужой тёмный потолок, и считала удары под пальцем, пока их не стало на несколько больше.

Мысль про агональные галлюцинации пришла и ушла сама. Умиравший мозг не выдаёт связного мира с холодным полом, ознобом и запахом чужого жилья. Он выдаёт свет в конце коридора и голоса родни. Я лежала на досках, и доски давили на лопатки ровно так, как давят доски.

Значит, не бред.

Значит, надо работать с тем, что есть.

* * *

Через какое-то время стало легче настолько, чтобы двигаться.

Я села, держась за стену, добралась до жаровни и нашла среди того немногого, что было в комнате, единственное средство, способное хоть немного ослабить действие яда.

Средство было примитивным и ненадёжным. Другого не нашлось.

Я сделала всё, что могла, и запила водой из кувшина. Вода отдавала железом.

Потом села к плошке и стала осматривать себя. Так, как осматривают поступившего.

Возраст — двадцать с небольшим. Под ключицами ямы, рёбра считаются без нажима: недоедала она годами, не неделю.

Чёрные жёсткие волосы я распустила и собрала привычным движением. Они легли иначе, потому что их оказалось вдвое больше и они были не мои.

На левом запястье — рубец. Старый, побелевший, шириной в мизинец, изогнутый подковой. Ожог, и не от огня: от кипятка, который плеснуло сверху вниз, когда снимали с огня что-то тяжёлое и не удержали. Такие я видела в приёмном каждое лето, у поварих и у матерей с грудными на руках.

Я потрогала подкову. Зрелый рубец отозвался глухо и с запозданием.

Лицо трогать себя я заставила отдельно. Скулы выше моих, челюсть уже, между бровей нет складки, которая у меня не уходила даже во сне.

Двадцать один год, может быть, двадцать два. Женщина, которая всю жизнь работала руками и мало ела.

И вот тогда я посмотрела на чашку.

Она лежала у самой циновки, опрокинутая набок. На дне остался бурый ободок. Я поднесла её к плошке и понюхала.

Горько. Травяно. Слишком густо для случайной примеси.

Такой отвар не выпивают по ошибке. Его готовят, когда решение уже принято.

Дальше пошёл счёт, и он мне не понравился.

По тяжести и свежести симптомов было ясно: чашка опустела недавно.

То есть за стеной ещё не рассвело, а тот, кто приготовил отвар, дождался, пока он подействует.

Я поставила чашку ровно так, как она лежала, набок и ободком к циновке, и вытерла пальцы о подол.

Подол оказался из грубого некрашеного полотна, чиненого на локте старательно и плохо, нитками другого оттенка — так чинят, когда своих ниток нет и берут те, что дали. У изголовья лежал узелок величиной с кулак, и в нём нашлись гребень с выломанным зубцом, медная монета с квадратной дырой посередине и сложенный вчетверо лоскут, в который не было завернуто ничего.

Всё имущество.

Рукав я понюхала уже потом, скорее по привычке, чем с расчётом, и вот он сказал мне больше, чем весь узелок. От полотна тянуло сушёной травой — не одной, а сразу многими, и поверх всего шла та вьедливая горечь, которая садится на одежду только у людей, работающих с отварами каждый день.

Значит, эта женщина знала, что делает. И сделала это сама.

Я сидела с её рукавом в горсти и держала в голове очень простую вещь.

Она решила не проснуться и довела решение до конца. А потом кто-то — не она — удержал тело на самом краю.

За неё это доделала я. Не спросив.

И теперь мне предстояло жить в теле, которое хозяйка честно и обдуманно сдала.

В моём прежнем мире у меня было полторы тысячи человек, прошедших через мои руки, диплом, восемь лет стажа и три года выездов. Здесь у меня было чужое запястье с чужим ожогом, гребень без зубца и опрокинутая чашка.

Я не заплакала.

Не потому, что сильная. При таком давлении слёзы — роскошь, которую организм откладывает на потом.

* * *

Снаружи стукнуло.

Я обернулась к окну, затянутому бумагой. По ней плыло жёлтое пятно. За ним второе. Пятна покачивались слева направо, и вместе с ними по бумаге ехали растянутые тени.

Фонари.

Голоса шли негромкие, деловые — какими говорят люди, вышедшие по делу до рассвета и не желающие будить остальных.

Я подтянула ноги под себя.

— ...в дальнем крыле. Третья от угла.

Шаги приблизились и стихли. Совсем близко. Один из них переступил с ноги на ногу, и доски под ним отозвались.

— Эта?

Пауза.

Я сидела на полу, в чужом теле, с углём на зубах, и считала.

Раз. Два.

— Эта, — сказал второй. — В той же комнате и есть.

Дверная рама скрипнула под чьей-то ладонью.

Утро разбирательства.

Дверь отошла в сторону, и в проём заглянуло сразу двое.

Мужчины в тёмном холсте, с фонарями, которые на свету уже стали не нужны. Один смерил меня взглядом от макушки до босых ног, задержался на разлитой у циновки луже и сказал через плечо, во двор:

— Живая. Пусть сперва отмоется, вести в таком виде.

Фонари ушли. А в проём боком протиснулся мальчишка с двумя вёдрами на коромысле — видно, его-то за водой и погнали.

Лет четырнадцать. Мокрые по локоть рукава, стриженная под самый череп голова, босые ноги в разводах глины.

Он поставил вёдра, оглядел меня и присел на корточки.

— Сестрица Лиэнь, — сказал он с укором, — ну ты и дура.

Я не ответила. Не из гордости — просто ещё не решила, каким голосом отвечать.

Мальчишка зачерпнул плоской из ведра и протянул мне.

Вода. Первое, что мне нужно, и первое, что мне дали. Я взяла плоску обеими руками, потому что одной не удержала бы, и выпила всё.

— Ещё.

Он налил ещё, и вторую я тоже выпила до дна.

— Я слышал, они с рассвета ходят, — сказал он. — По всему двору ходят. Госпожа Вэй велела привести тебя, как проснёшься, а если не проснёшься — всё равно привести.

Вот и имя. Лиэнь.

Я примерила его на себя, как примеряют чужую обувь, и оно село как чужая обувь — не жмёт, но и не держит ногу.

— Тао, ты чего сидишь? — крикнули со двора.

— Иду! — заорал он в ответ, не вставая, и понизил голос: — Слушай. Ты вчера чего наделала-то?

Вопрос стоил дороже всей воды.

Я подняла на него глаза и промолчала, и молчание он истолковал по-своему.

— Ну да, — сказал Тао угрюмо. — Все говорят, ты старику снадобье не то дала. А он возьми и помри. А госпожа Вэй говорит, ты нарочно.

Он подобрал вёдра и уже в дверях обернулся.

— Ты только там не спорь, ладно? Хуже будет.

* * *

Идти пришлось самой.

Первые двадцать шагов я держалась за стену флигеля, и стена шла под ладонью тёплая от солнца — значит, утро успело развернуться, пока я валялась на досках.

Двор оказался огромным.

Он был вымощен серым камнем, и по камню везде двигались люди — с корзинами, с вязанками, с носилками, с накрытыми тряпицей лотками. Никто не бежал. Все шли ровно и споро, как ходят там, где за суету бьют.

Я пошла следом за спиной Тао и стала смотреть.

Одежда сортировала их лучше любых слов. Некрашеное полотно, как на мне, — таких было больше всего, и они несли. Тёмный крашенный холст — эти не несли ничего, а шли с дощечками и оглядывали тех, кто несёт. И один раз через двор наискось прошло зелёное: шёлк, тяжёлый, гладкий, с блеском на сгибе. Полотно и холст при виде зелёного расступались, не поднимая головы.

Три сословия за сорок шагов. Даже спрашивать не пришлось.

Меня повело на повороте, и я упёрлась плечом в столб галереи.

Держись. Сорок восемь ударов в минуту — это не приговор, это просто мало. Мало крови на подъёме, мало на голову, мало на всё.

Я стояла, дышала и считала не пульс, а женщин у водогрейни, чтобы дать глазам за что-то зацепиться.

Одна. Две. Пять.

Раньше я считала, чтобы не дрожали руки. Теперь — чтобы не упасть при свидетелях, и это оказалось другое занятие, хотя со стороны выглядит одинаково.

— Живее, — сказали сзади.

Я пошла живее.

* * *

Палата разбирательств оказалась низкой и полутёмной, с земляным полом и одним квадратом света из-под приподнятой боковой стены.

У дальней стены сидела женщина.

Лет под пятьдесят, седая, убранный волосок к волоску, в зелёном. Руки она держала в рукавах, и в правом рукаве что-то тихо пересыпалось — сухо и костяно, как пересыпаются мелкие палочки.

Слева от неё за низким столиком помещался сутулый человек с чернильницей. Пальцы у него до второй фаланги были в туши, и он не поднял головы, когда меня ввели.

Меня поставили в трёх шагах и назвали.

— Приписная лекарского двора.

Госпожа Вэй посмотрела на меня и вздохнула.

— Подойди ближе, девочка. Я не кричу через комнату.

Я подошла на шаг.

— Пятнадцатого дня седьмой луны, — начала она ровно, без выражения, глядя мимо меня в стену, — приписная лекарского двора, будучи послана к больному Хао из обозных, отпустила ему ядовитый настой вместо лечебного, отчего названный Хао к утру помер. Мера отпущена не по книге, книга за тот день не подписана, сосуд не возвращён.

Она сделала маленькую паузу.

— Записал?

— Записал, — сказал сутулый.

Я стояла и следила за кистью, и кисть эта прошла по бумаге ровно четыре раза, тогда как сказано было куда больше четырёх строк.

Значит, часть сказанного в бумагу не пошла.

И я даже понимала, какая именно часть: из обвинения тихо, без всякого нажима, выпало «будучи послана к больному», а осталось голое «отпустила», и разница между этими двумя редакциями стоила человеческой жизни, потому что в первой у приписной был тот, кто её послал, а во второй она стояла одна.

— Ты слышала, в чём тебя винят? — спросила госпожа Вэй.

Я слышала. И, кроме того, я слышала, что обвинение выстроено безупречно — не по злобе, а по форме, и это оказалось гораздо хуже злобы.

Женщина, которая варит отвары каждый божий день и знает свою полку на ощупь, отпустила больному смертельную меру того, что стоит на этой полке третьим слева. Книга за день не подписана — значит, никаких следов, кроме её собственных рук, в деле нет. Сосуд не возвращён — значит, и проверить, что в нём было, попросту нечего.

А потом эта самая женщина ушла к себе и выпила остаток сама, и вот последнее закрывало дело плотнее всех предыдущих доводов, вместе взятых, потому что так поступают виноватые, и никакого другого прочтения тут не требуется.

Ни один человек в этой комнате не считал иначе. И, положив руку на сердце, на их месте, с этими четырьмя строками перед глазами, я бы тоже не считала иначе.

— Я жду, — сказала госпожа Вэй.

Я открыла рот, и мне было что сказать: что меры этих настояев различаются на глаз любому, кто хоть раз держал в руках обе; что человек, решившийся отравить, не станет пить остаток; что книга не подписана не за один тот день, а за целую неделю, и это стоило бы спросить у того, кто книгу ведёт.

И тут же закрыла, потому что до меня наконец дошло, чего именно я всё это время не понимала.

Я перевела взгляд на сутулого. Он сидел с кистью на весу, и ждал он не моего ответа, а следующего слова госпожи Вэй.

Он не собирался за мной записывать.

Я обвела палату глазами ещё раз, медленно и по порядку, как обводят взглядом помещение, в котором предстоит работать: женщина в зелёном у дальней стены; писарь, который ждёт её слов и только её; двое у входа, поставленные сюда затем, чтобы стоять; и ни одного человека, пришедшего в эту комнату ради меня.

Что бы я сейчас ни произнесла, ни единого слова из этого не окажется в бумаге. А то, чего нет в бумаге, здесь попросту не происходило — и, судя по четырём строкам, правило это работает независимо от того, правду говорит приписная или лжёт.

Тишина в палате стояла долго. Такая тишина, в которой слышно, как в рукаве пересыпаются палочки.

— Молчит, — сказала госпожа Вэй кому-то в сторону, и в голосе её не звучало торжества. Скорее уж усталость немолодой женщины, которая тридцать лет разбирает одно и то же. — Они всегда молчат. Пиши: вины не отрицала.

Кисть пошла по бумаге.

Я сглотнула сухим горлом и осталась стоять.

Не потому, что смирилась. Потому что впервые за всё утро увидела задачу целиком, и задача была не в том, чтобы оправдаться.

Задача была в том, чтобы моё слово начали заносить.

* * *

Госпожа Вэй уже поднимала руку — тем коротким жестом, каким закрывают то, что и так решено.

Снаружи ударил колокол.

Ударил нехорошо: не размеренно, а часто, вразнобой, будто дёргали без счёта.

Двое у стены переглянулись. Писарь поднял голову — впервые за всё разбирательство.

В дверь влетел человек в холсте, с мокрым от пота лицом, и остановился, упершись ладонями в колени.

— Госпожа. Обоз с севера.

— Я слышу колокол.

— Госпожа, они не порожние. — Он выпрямился и сказал уже громче, чем следовало говорить в этой палате: — Двадцать шесть человек. Из Бэйгуаня. Живые пока все.

В палате сделалось очень тихо.

«Живые пока все» — так не говорят про раненых. Про раненых говорят «двое тяжёлых» или «один не довезли». «Пока все» говорят про тех, кто болен одним и тем же и умирает по очереди, и человек, произнёсший эти два слова, сам того не заметив, доложил куда больше, чем ему поручили.

Двадцать шесть человек из одной крепости. За четыре дня пути.

Я стояла в трёх шагах от собственного приговора и считала совсем другое: сколько их вышло из Бэйгуаня, если двадцать шесть довезли живыми.

Госпожа Вэй встала. Встала она быстро, и я отметила это — так встают не от неожиданности, а от узнавания.

— Куда положили?

— Никуда. Во дворе лежат. Никто не берётся, госпожа.

И вот тогда она посмотрела на меня.

Долго, как на инструмент, о котором вспомнили не вовремя и не к месту.

— Разбирательство отложено до вечера, — сказала она в сторону писаря. — Так и запиши. А эту — во двор.

Чёрный барак.

Их сгрузили прямо на камень, у восточной стены, и там оставили.

Двадцать шесть. Я пересчитала дважды, пока шла через двор, и на второй раз вышло столько же.

Возчики уже отходили, вытирая ладони о полы, и отходили они быстрее, чем несли. Приписные с носилками стояли в отдалении, сбившись плотно, и никто не делал первого шага.

Их можно понять. Когда с севера привозят два десятка людей, которые не ранены, но лежат, — от таких носилок шарахается любой, у кого есть хоть какой-то опыт.

— В чёрный барак, — сказала госпожа Вэй у меня за спиной. — Всех. И её туда же.

Кто-то за плечом коротко втянул воздух.

Я обернулась. Тао стоял с пустым коромыслом и смотрел на меня, и на лице у него читалось то, чего он не сказал вслух: из чёрного барака не выходят.

Что ж. До вечера меня всё равно не приговорят, а приговорённой в барак — это даже экономно.

Я подошла к ближайшему носилочному и взялась за ручки.

Приписные посмотрели, помялись — и взялись тоже.

* * *

Барак стоял отдельно, за водогрейней: длинное низкое строение, поперёк разделённое дощатой перегородкой. Сорок лежанок, по двадцать на половину. Земляной пол, две двери, окна под самой крышей.

Тот, кто его ставил, что-то понимал. Или ставил по чужому чертежу, не понимая.

Мы носили их час.

Я работала и смотрела, и к десятому человеку картина сложилась настолько, что мне сделалось нехорошо — уже не от слабости.

Все горячие. Не одинаково: у одних лоб просто тёплый, у других сухой жар, от которого пальцы отдёргиваешь. И это не разброс тяжести. Это разные дни одной и той же болезни.

Живот у большинства вздут, мягкий, при нажатии — недовольство, а не крик. Языки обложены серым, по краям — отпечатки зубов.

Одного я держала за запястье дольше других. Мужик лет сорока, весь красный, дышит часто, лоб под ладонью печёт.

Пульс шёл семьдесят.

Семьдесят. При таком жаре.

Я подержала ещё, пересчитала и опустила его руку на циновку.

Вот это уже почти ответ. При лихорадке сердце гонит, и гонит сильно, а тут оно шло себе спокойно, как у человека, сидящего в тени. Признак не железный, встречается не у всех — но когда он есть, он стоит десятка догадок.

У троих на животе и груди я нашла сыпь. Бледно-розовые пятнышки, редкие, штук по восемь-десять, пропадающие под пальцем.

У остальных двадцати трёх — ничего.

И вот это как раз в порядке вещей. Сыпь тут бывает у одного из четырёх, и лекарь, который ждёт её у всех, диагноза не поставит никогда.

Ещё я смотрела на то, чего у них не было, и это оказалось не менее полезно. Ни у одного не нашлось ни раны, ни нагноения, ни следа зверя или железа; ни у одного не пожелтели белки; ни у кого не пошла кровь горлом, как идёт она при том, о чём в первую очередь думаешь, глядя на два десятка лежащих из одной крепости.

Значит, не рана, не желтуха и не грудная зараза. Значит, брюхо, вода и время.

Дальше я делала то, что делают всегда: разложила их не по тяжести, а по дням.

Ближе к двери — тех, кто горит первую неделю: жар ползёт вверх ступенями, знобит, живот пока держится. В середину — вторую: жар стоит стеной, понос, лежат тряпками. К дальней стене — троих, у которых пошла третья: у одного живот твёрдый и болезненный, и его я тронула единственный раз, очень осторожно, и больше не трогала.

Ему я уже ничем не помогу. Ни здесь, ни в своей больнице, ни в какой другой без операционной.

* * *

Опрашивать я начала с тех, кто ещё мог говорить.

Вопросы были простые, и я задавала их одинаково, чтобы потом сравнивать.

Откуда. Сколько дней. Где стоял. Что ел. Откуда брал воду.

Половина отвечала мутно, и это ожидаемо: при таком жаре человек путается в собственном имени. Но у меня набралось одиннадцать внятных ответов, и я разложила их в голове в столбик.

Ели все разное. Пайковое, купленное у маркитантов, что-то домашнее.

Спали в разных палатках.

Из одиннадцати десять стояли в верхнем лагере.

Одиннадцатый оказался обозным, который ходил наверх через день — возил дрова.

Я стояла посреди барака с мокрыми по локоть руками и слушала, как внутри у меня что-то встаёт на место с отчётливым щелчком.

Не еда. Не воздух. Не «слабость духа», которую, по словам возчика, поминали в докладе. Вода.

Одна вода, общая для верхнего лагеря, и берут они её не оттуда, откуда нижний.

Я даже знала, что скажу. У меня в голове уже выстраивалась фраза — короткая, из тех, которые сами просятся наружу: «Это не гнев и не дух. Это вода, и её надо кипятить».

Я закрыла рот и пошла за ветошью.

Сказать это здесь и сейчас означало заявить, что двадцать шесть человек привезены не по несчастью, а по чьему-то недосмотру. У недосмотра есть имя, у имени — дом, а у меня — четыре строки в протоколе и обвинение в отравлении больного.

Слово приписной в бумагу не заносят. Зато донос на приписную заносят охотно.

Самым внятным из одиннадцати оказался мальчишка лет одиннадцати, лежавший вторым от двери.

Отвечал он коротко и по делу, лучше взрослых: где стоял отец, где стояли они с матерью, откуда носили воду и в чём. Руки он при этом держал втянутыми в рукава по самые пальцы, хотя в бараке было душно.

— Мать тоже слегла, — сказал он под конец. — Раньше меня. Её не повезли.

Звали его Ю.

Жар у него шёл третьи сутки, живот держался, и по всему выходило, что этот, если ничего не переменится, у меня выживет.

Я запомнила его вторым от двери и пошла дальше.

Старик с крайней лежанки, которого звали Хан, поймал меня за подол, когда я проходила мимо.

— Дочка. Пить.

Я дала ему воды.

— Наверху её пить нельзя, — сказал он вдруг совершенно ясно, глядя мимо меня. — Мы говорили. Она сладкая идёт. Хорошая вода сладкой не идёт.

И закрыл глаза.

Я постояла над ним с плоской в руке.

Он мне сейчас, между делом, отдал то, за что я готова была выложить неделю работы. И он не понимал, что отдал.

* * *

К вечеру во дворе сталолюдно.

Через камень наискось шли трое: двое в холсте, а между ними — высокий, в тёмно-сером. Шёл он не так, как ходят по этому двору: не спеша и не оглядываясь, будто двор был ему не местом службы, а комнатой в собственном доме.

Приписные у водогрейни разом опустили головы.

Он остановился шагах в тридцати от барака. Не ближе. Постоял, глядя на дверь, и что-то сказал одному из холщовых, коротко, в три слова. Тот кивнул и пошёл прочь почти бегом.

Профиль у высокого был жёсткий, обветренный, с ранней проседью от виска. Правую кисть он держал левой и разминал её большим пальцем — медленно, механически, как разминают то, что давно не гнётся.

Я поймала себя на том, что второй раз смотрю на линию от виска к скуле, и не нашла для этого никакой рабочей причины.

На барак он смотрел ровно столько, сколько нужно, чтобы сосчитать двери.

И вот это я отметила отдельно.

Человек, который приходит поглядеть на беду, смотрит на людей. Человек, который приходит её оценить, смотрит на двери, стены и на то, сколько ещё войдёт.

Он считал вместимость.

Значит, для него двадцать шесть — не случай, а первая цифра в ряду. Значит, он уже знает или крепко догадывается, что за ними приедут другие.

Потом он развернулся и ушёл, и меня не увидел вовсе — как не видят ветошь в руках у приписной.

— Кто это? — спросила я у Тао.

Голос вышел сиплый. Первое, что я сказала вслух за этот день.

Тао открыл рот. Потом закрыл. Потом посмотрел на меня так, как смотрят на человека, спросившего, где восток.

— Ты чего, сестрица? Головой ударилась?

— Ударилась, — согласилась я.

Он оглянулся и понизил голос до неприличия почтительного.

— Это ставка чья, по-твоему?

Больше он ничего не сказал, а я больше не спрашивала.

* * *

Ночью я села у двери, где тянуло сквозняком, и стала считать — на этот раз не удары и не людей у водогрейни, а то, что считать труднее всего.

Двадцать шесть человек. Умерших за сегодня нет: трое лежат на третьей неделе, шестеро на второй, остальные семнадцать только входят в свою.

Дальше пошла арифметика, и вела я её честно, без утешительных округлений, как ведут её перед тем, как принять решение, за которое потом отвечать.

У троих дальних никаких шансов нет и быть не может. Перфорация — это операционная, а операционной в этом мире не существует ещё лет восемьсот.

Шестеро в середине вытянут в лучшем случае наполовину, и то при уходе, питье и покое, которых у меня в этом бараке нет ни в каком виде.

Семнадцать начинающих при чистой воде и чистых руках встали бы почти все. Без чистой воды и чистых рук выживают обыкновенно четверо из десяти, и это ещё если считать по-доброму.

Я сложила всё это и получила, что через неделю в бараке останется примерно половина, и половина эта будет не той, о которой хочется думать перед сном.

А потом я вспомнила, что двадцать шесть — это не те, кто заболел, а те, кого довезли.

Что везли их четыре дня, и никто не считал, скольких сгрузили по дороге.

И что в Бэйгуане стоит шесть тысяч человек, которые каждое утро набирают воду в одном и том же месте, и ни один из них не знает того, что я поняла сегодня к полудню, стоя с мокрыми руками между двумя лежанками.

Барак дышал вокруг меня — двадцать шесть человек в темноте, вразнобой, и по этому дыханию можно было расставить их по дням не хуже, чем днём по лицам.

Через неделю здесь станет свободно, подумала я.

И совсем не потому, что все встанут и уйдут.

Как считают воду.

К утру я поняла, чего именно у меня нет.

Нет права назвать болезнь. Нет права позвать кого-то с весом. Нет права выйти за ворота барака и посмотреть, откуда сюда несут воду.

Зато никто не запрещал мне переставлять лежанки.

Я начала с перегородки.

Семнадцать начинающих ушли на левую половину, за доски. Девятеро тяжёлых остались на правой. Между половинами я поставила пустую лохань, и это была не лохань, а граница, и переступить её без нужды я запретила себе первой.

— Не по-людски, — сказала приписная лет девятнадцати, худая, с подбородком, вжатым в плечо. — Их надо вместе. Кто послабее — тому и присмотр.

— Их надо порознь.

— Госпожа Вэй не велела ничего менять.

— Госпожа Вэй не велела и оставлять всё как есть.

Она смолчала. Звали её Нянь, и я запомнила, как она смолчала: не согласившись, а отложив.

Дальше пошла посуда.

Я отобрала четыре плошки и завязала на каждой тряпицу. Эти — только для правой половины. Все прочие — только для левой. Кто перепутает, тот моет всё заново, и мыть будет он, а не сосед.

Потом отхожее место. Оно у них располагалось шагах в пятнадцати от водогрейни, ниже по склону двора, и по этому склону в дождь текло ровно туда, куда течь не должно.

Перенести яму я не могла. Зато могла перенести бочку с водой — выше по склону и в другой угол.

Пожилая приписная по имени Цю смотрела, как я качу бочку, и не помогала.

— Тяжело, — сказала она наконец.

— Тяжело.

— Так и оставь.

— Не оставлю.

Она подумала и подставила плечо. Не из милосердия — просто смотреть, как надрывается баба вдвое моложе, ей оказалось противнее, чем помочь.

Последним я потребовала кипятить.

И вот тут двор встал.

* * *

— Дров не дам, — сказал водогрей.

Он даже не рассердился. Он объяснял, как объясняют ребёнку.

— На варку дают. На стирку дают. На то, чтоб грели воду просто так, — не дают. Дрова считаны, приписная. Всё в этом дворе считано.

Я стояла и понимала, что упёрлась не в глупость и не в злобу.

Я упёрлась в бюджет.

В моей больнице стерильность стоила денег, но денег больничных, чужих и безличных. Здесь она стоила поленьев, и поленья кто-то привозил, кто-то колол, кто-то записывал в книгу, и на каждое полено имелась строка.

Тао нашёл меня у водогрейни через час, когда я всё ещё соображала, с какой стороны к этому подступиться.

— Сестрица, — сказал он гордо, — я тебе принёс.

И протянул вязанку.

Небольшую. Совершенно точно ничью.

— Откуда?

— Оттуда, — сказал он с достоинством. — Тебе надо или нет?

Мне надо было. Я взяла.

А потом посмотрела на его руки и взяла уже другое — его правую кисть.

Между большим и указательным у него сидела заноза, вошедшая косо и давно. Вокруг набухло, покраснело, кожа лоснилась, и на ощупь это место шло горячее остального.

— Больно?

— Не.

— Врёшь.

— Не.

Я усадила его на порог, вымыла руки, прокалила иглу в жаровне и вскрыла ему нагноение. Он не пикнул. Только на середине сказал сквозь зубы, что вязанку в другой раз принесёт побольше.

Промыла. Перевязала чистой тряпицей.

— Через день покажешь. Если пойдёт красная полоса вверх по руке — покажешь сразу, ночью, не дожидаясь утра.

— Ага. — Он подвигал пальцами и остался доволен. — Слушай, сестрица. А ты правда старика того уморила?

— Нет.

— Так и знал, — сказал он спокойно, как о решённом. — Ты вон возишься. Уморила бы — не возилась.

И вот на этом, кажется, мы с ним и договорились. Без единого слова о договоре.

— Тао. Ты по двору ходишь везде?

— Везде.

— И в мертвецкую?

Он отшатнулся так, что чуть не свалился с порога.

— Ты чего?! — Он оглянулся и понизил голос. — К мёртвым не подходят, сестрица. Совсем. Ни лекарь, ни приписной, никто. Тронешь мёртвого без дозволения — осквернение. За осквернение служилому и приписному одна мера, и она короткая.

— Какая?

Он провёл ребром ладони поперёк горла и посмотрел на меня почти с укором: мол, такие вещи знают все.

Я не стала переспрашивать.

Но запомнила накрепко, потому что за час до этого разговора мне уже приходило в голову, что ответ на все мои вопросы лежит не в бараке.

Вязанки хватило на один котёл.

Я вскипятила его до бела, дала остыть под крышкой и раздала девятерым тяжёлым — по две плоски на человека.левой половине не досталось ничего.

Семнадцать человек весь день пили ту же воду, что и вчера. Я подходила к ним с той же тряпицей и с тем же лицом и знала про каждого, что делаю ему меньше, чем могу.

Один котёл на двадцать пять человек — это не лечение. Это доказательство, что лечение возможно, и стоит оно четыре полена.

Осталось найти того, кто согласится считать поленья по-моему.

* * *

Хан умер в третьем часу пополудни.

Умирал он совсем не так, как об этом принято рассказывать: без последних слов, без просветления перед концом и без того долгого взгляда куда-то поверх плеча, которым в книгах

проводят уходящих. С утра он просто перестал просить пить, а к полудню перестал отвечать, и вся разница между живым и умирающим уложилась в эти два «перестал».

Я сидела рядом и делала то небольшое, что ещё оставалось делать, — то есть почти ничего, но это почти ничего требовало присутствия.

Смачивала ему губы краем мокрой тряпицы, потому что глотать он уже не мог, а сухие губы трескаются и кровят, и человеку от этого хуже даже тогда, когда он вроде бы не здесь.

Подкладывала под поясницу свёрнутую ветошь, потому что кожа на крестце за двое суток пошла белым пятном, и это пятно означало, что если он проживёт ещё неделю, там откроется рана, которую нечем будет лечить.

Считала дыхание.

Восемь в минуту. Потом шесть. Потом длинная пауза — и снова два коротких вдоха подряд, и опять пауза, длиннее прежней, и в этих паузах помещалось столько времени, что я успевала подумать, что вот и всё, и ошибиться.

Так дышат, когда мозг перестаёт спорить с телом за воздух.

Про то, что он умрёт, я знала ещё накануне, когда положила ладонь ему на живот и почувствовала под пальцами доску вместо живого. И это вчерашнее знание не помогло мне сегодня ровным счётом ничем, потому что знать, чем кончится, и сидеть рядом, пока это кончается, — две совершенно разные работы, и вторая тяжелее.

В четверть третьего он открыл глаза.

Посмотрел он не на меня, а куда-то в потолочную балку, и сказал очень внятно, будто продолжал разговор, начатый утром:

— Сладкая.

Я наклонилась ниже.

— Что сладкая, дедушка?

Но он уже не ответил.

Дыхание ушло в четвёртом часу, тихо, между двумя моими вдохами, так что я не поймала момент и потом ещё минуту держала пальцы у него на шее, проверяя то, что и так было ясно.

Потом я закрыла ему глаза, села на пятки и просидела так, сколько позволяли.

Двадцать шесть привезли. Двадцать пять осталось.

Не отпускало меня совсем другое, и держало оно крепче, чем сама смерть, к которой у меня за восемь лет выработалась та броня, без которой в этом деле не живут.

Он пролежал у меня в бараке двое полных суток. И всё, что он успел мне за эти двое суток отдать, — три слова про сладкую воду, которые я вытянула из него мимоходом, между двумя другими делами, потому что мне тогда было некогда сесть и поговорить с умирающим стариком по-человечески.

Он знал про эту воду что-то ещё. Он ходил там, пил оттуда, слышал, что говорили другие обозные, и всё это лежало у него в голове ровно до четвёртого часа пополудни.

А спросить я его толком так и не успела, и теперь уже не спрошу, и в этом виновата не болезнь.

Тело унесли двое в холсте, накрыв рогожей, и на пороге один придержал другого и оглянулся на меня: не иду ли следом.

Я не пошла.

* * *

Тао пришёл под вечер и сел на порог, где утром сидел с рукой.

— Ты сегодня какая-то, — сказал он.

— Какая?

— Тихая.

Я не стала объяснять, что тихая я оттого, что весь день считала не в ту сторону.

— Ты хотел что-то сказать.

— Ага. — Он оживился и понизил голос до заговорщицкого. — Я слышал. Обозные говорят, там, в Бэйгуане, уже за две сотни легло. За две! А в бумаге, которую с обозом привезли, — сорок.

Я сидела и молчала.

— Сорок, — повторил Тао, довольный тем, как его новость улеглась. — Здорово врут, да? Здорово.

И вот тут я наконец увидела всё целиком, и от этого мне стало холоднее, чем от любой цифры.

Двести против сорока — это не ошибка счёта и не путаница обозных. Ошибаются в одну сторону на десяток, а не в пять раз. Так расходятся числа только тогда, когда кто-то в Бэйгуане каждую неделю садится и пишет цифру, которая всех устраивает.

А раз он её пишет — значит, знает настоящую.

Значит, там, наверху, есть человек, который сорок дней смотрит, как умирают люди, и заносит в бумагу другое число.

И вот против него у меня нет ничего.

Ни имени, ни доступа, ни голоса.

У меня есть двадцать пять больных, вязанка краденых дров и мальчишка, который носит слухи.

Я поднялась и отряхнула колени.

Раз всё в этом мире решает бумага — придётся заводить свою.

Пусть моё слово в протокол не заносят. Но никто ведь не говорил, что я не могу записывать сама.

Что стоит бумага.

Писарская оказалась самой богатой комнатой из всех, куда меня в этом дворе до сих пор пускали, и богатство её было целиком бумажным.

Вдоль двух стен, от земляного пола до самых балок, поднимались полки, а на полках плотно, корешок к корешку, лежали связки — плоские, перевязанные вощёным шнуром, с деревянными бирками на торцах, и на каждой бирке стояло по два знака, которых я не умела прочесть. Пахло тушью, рисовым клеем и той особенной сухой пылью, какая заводится только там, где годами лежит написанное и никто его не тревожит.

Посреди всего этого, за низким столом у окна, сидел вчерашний сутулый человек и писал, и скрип его кисти оказался единственным звуком в комнате.

Я постояла в дверях дольше, чем следовало стоять приписной, и всё это время думала об одном: вот она, та самая вещь, которой в этом дворе решается решительно всё — не люди, не печати, не зелёный шёлк, а эти вот связки с бирками, лежащие в сухой пыли и не имеющие ни малейшего понятия о том, что в них записано.

Двадцать пять человек лежат сейчас у меня в бараке и дышат вразнобой, и по этому дыханию я могу расставить их по дням не хуже, чем по лицам. Здесь, на полке, все двадцать пять займут в лучшем случае полстроки, и полстроки эти напишет вот этот сутулый человек с чернильными пальцами, а вовсе не я.

— Господин писарь.

Он поднял голову, и я увидела, что глаза у него близорукие и что смотрит он не в лицо, а немного мимо, как смотрят люди, которым проще узнавать по голосу.

— Приписная лекарского двора, — сказал он, не спрашивая, а уточняя запись. — Слушаю.

— Мне нужна бумага. Немного. И тушь.

Он положил кисть на подставку, поправил её на волосок и посмотрел на меня уже прямо.

— Зачем приписной бумага?

— Записывать.

— Что записывать?

— Кто когда слёг. Что пил. Откуда взял воду. Кто умер и на какой день.

Мо помолчал. Потом дунул на непросохшую строку перед собой — коротко, привычно, как дуют на ложку.

— Приписной бумага не отпускается, — сказал он.

* * *

Он не сказал «нельзя». Он сказал «не отпускается», и разница между этим оказалась целой пропастью.

— Отчего?

— Оттого, что записанное приписной — не запись. — Мо повёл рукой в сторону полок, и в жесте этом не было ни высокомерия, ни сочувствия. — Вон там, приписная, лежит то, что было. Не то, что случилось, — то, что было. Разница улавливаешь?

— Улавливаю.

— Не улавливаешь, — сказал он спокойно. — Иначе не просила бы.

Он снял с полки первую попавшуюся связку, развязал шнур и повернул ко мне верхний лист.

— Смотри. Вот запись. Внизу — знак. Чей знак стоит, того и слово. Мой знак — писарский, я свидетельствую, что записано верно с чужих слов. Знак лекаря с печатью — тот свидетельствует уже о существовании дела. Знак высокородного — о чём угодно.

— А знака приписного там нет.

— Приписной не имеет знака, — подтвердил он. — Стало быть, и подтвердить твою бумагу нечем. Ты её напишешь, а она будет ничья. Ничья бумага — это не бумага, а тряпка с тушью.

Я разглядывала лист, на котором чужая рука когда-то вывела чужое дело, и внизу под ним стоял знак, делавший всё написанное существующим.

— Сколько в столице печатей лекаря?

Он даже не задумался.

— Одиннадцать. Три при дворце, две при Сыске, одна при войсковом ведомстве, четыре по домам и одна здесь, при ставке. Печать даёт право заносить своё заключение в протокол напрямую, без посредника. Восемь из одиннадцати держат высокородные. Три — служилые.

— А приписные?

— За шестьдесят лет ни одной.

Он свернул связку и завязал шнур точно тем же узлом.

— Ещё что-нибудь?

Я стояла и не уходила, потому что в его отказе было что-то, чего я пока не поймала. Он отказал мне трижды и ни разу не сказал «уходи».

— Господин писарь. Вы ведёте книгу лекарского двора?

— Веду.

— За последнюю неделю она подписана?

Вот тут он посмотрел на меня по-настоящему — впервые за весь разговор.

— Нет, — сказал он.

— И за позапрошлую?

— Нет.

— А кто её должен подписывать?

Мо взял кисть, обмакнул и вернулся к своей строке.

— Приписная, — произнёс он ровно, глядя в бумагу, — если ты станешь спрашивать меня, кто чего не подписал, я тебе не отвечу. Я отвечаю только на вопрос «как записать». Ты его пока не задала.

Я постояла ещё немного.

— Как записать, — спросила я наконец, — что больной такой-то слёг такого-то дня и пил воду оттуда-то?

Кисть остановилась.

— Никак не записать, — сказал Мо. — Такого рода запись делается со слов лекаря, за его знаком. — Он помедлил ровно на один удар сердца. — Либо переписывается писарем из лекарской книги, если она ведётся. Тогда за писарским знаком. Тогда её кто-то ведёт, а я перебеливаю.

Он дунул на строку.

— Книгу лекарского двора, — добавил он в сторону, — уже третью неделю никто не ведёт.

И больше не сказал ничего.

Я вышла из писарской, и только на дворе до меня дошло, что мне сейчас, ни разу не нарушив ни единого правила и ни разу не сделав мне одолжения, показали щель.

Он не дал мне бумаги. Он сообщил, что есть книга, которую по правилам обязан кто-то вести и которую три недели не ведёт никто.

Уже в дверях я вспомнила о другом.

— Господин писарь. У приписной лекарского двора паёк идёт куда?

— Половина — в Малый Брод, — ответил он, не поднимая головы. — По её же просьбе, с весны. Ещё вопрос?

— Нет.

— Если её осудят, — сказал Мо в бумагу, — выплата прекращается со дня приговора.

* * *

Ночью я вышла за барак и села у стены, где не ходят.

Небо здесь стояло совершенно чужое: я не находила в нём ни одной знакомой фигуры, ни одной опоры для глаза, — и это оказалось ровно то самое, чего я весь день так старательно не замечала за работой.

Меня зовут Вера Николаевна Столярова.

Я произнесла это про себя целиком, полным именем, как называют себя на осмотре незнакомому врачу, и звук вышел до того пустой, что я произнесла ещё раз, проверяя, не почудилось ли.

Там, откуда я пришла, сейчас третьи сутки лежит в холодильнике тело тридцати четырёх лет, кто-то уже подписал по нему заключение, а кто-то из ординаторской взял трубку и сказал в неё те несколько слов, которые в таких случаях говорят.

Я стала перебирать, кому он их сказал, и не перебрала.

Мать умерла два года назад; муж стал бывшим ещё раньше и, надо полагать, узнает обо всём от третьих лиц не раньше зимы; Юля поплачет в сестринской, умоется и выйдет в смену, потому что смену закрывать всё равно надо, и отделение будет работать дальше, а мою ставку закроют в течение месяца, потому что держать пустую ставку никто не станет.

Ни одного человека, который придёт вечером домой и не сможет там находиться.

Восемь лет подряд я говорила себе, что работа — это и есть моя семья, и мне это даже нравилось. Сегодня выяснилось, что семья, которую целиком можно уместить в трудовой книжке, никого не ищет, когда ты не выходишь на смену.

Я просидела у стены, пока не начало ломить спину.

Потом встала, вытерла лицо ладонью и пошла обратно, потому что в бараке дышали двадцать пять человек, и с ними ничего из этого не имело ровно никакого отношения.

Вера Николаевна осталась сидеть у стены. В барак вошла приписная лекарского двора.

* * *

Утром в дальнем углу правой половины лежанки оказались пустыми.

Три подряд.

Я стояла и смотрела на голые доски, и первым делом во мне поднялось не то, что положено, а профессиональная досада: я не видела ни одного из них последние часы, не считала им дыхание и не знаю даже, в каком порядке они ушли.

— Ночью унесли, — сказала Цю, не глядя. — Под утро.

— Кто?

— Из холщовых двое. Как всегда.

Я подошла к своей стене, где со вчерашнего дня углём было выведено двадцать пять чёрточек, и стёрла три.

Двадцать два.

А потом до меня дошло.

Я вчера весь вечер сидела и придумывала, где взять бумагу, чтобы записывать, кто когда слёг и от чего умер.

И пока я это придумывала, троих вынесли за ворота — ночью, тихо, ровно тем же порядком, каким выносят всегда.

Я развернулась и пошла искать Тао.

— Тао. Тех троих, что ночью, — их куда?

— Известно куда. В мертвецкую, до подводы.

— А записали их куда?

Он посмотрел на меня непонимающе.

— Как это — записали?

Вот именно, подумала я. Как это.

И встало на место последнее.

Вчера я весь день удивлялась, как в Бэйгуане получают сорок вместо двухсот. Придумывала злую волю, подложную бумагу, человека, который садится и выводит нужную цифру.

А никакой нужной цифры выводить не надо.

Достаточно, чтобы никто не выводил никакой.

Троих вынесли за ворота, и они нигде не отметились: ни в лекарской книге, брошенной с шестой луны, ни у писаря, который перебеливает то, чего ему не подали. Их просто нет. Не «умерли» — не были.

Так и набегает разница впятеро. Не ложью. Пустотой.

Я вернулась к стене с чёрточками и долго на неё смотрела.

Двадцать два угольных штриха на глине — единственное место в империи, где эти люди пока ещё числятся.

Канон говорит.

Книга лекарского двора нашлась там же, где её три недели никто не искал: в ларе у входа, под свёрнутыми циновками, придавленная сверху точильным камнем.

Толстая, в холщовом переплёте, с завязками. Последняя запись — двадцать девятого дня шестой луны, рукой, которой я не знала.

Дальше шли чистые листы.

Я села на порог, положила книгу на колени и долго смотрела на первый пустой разворот.

Никто не давал мне бумаги. Мне и не понадобилась бумага. Мне понадобилась брошенная вещь — та, которую по правилам полагается вести и до которой третью луну ни у кого не доходят руки.

Тушь я развела в черепке. Кисть взяла старую, с обмякшим волосом, из того же ларя.

И написала первую строку.

Восемнадцатого дня восьмой луны. Двадцать два человека. Поступили из Бэйгуаня четырнадцатого дня, числом двадцать шесть.

Рука шла плохо: чужие пальцы, чужая кисть, чужие знаки, которые я выводила по памяти этого тела, как выводят под диктовку на незнакомом языке. Вышло криво.

Но это была запись. Не тряпка с тушью — запись в книге, у которой есть место на полке и бирка на торце.

Дальше я писала по своей раскладке: кто на какой день, откуда брал воду, кто умер и когда.

Троих вынесенных ночью я тоже вписала. Задним числом, с честной пометкой: лежанки пустые, тел не осматривала.

К полудню исписалось два листа.

Впервые за пять дней я делала что-то, за что меня нельзя было наказать.

* * *

Госпожа Вэй пришла в барак после полудня.

Она встала в дверях и осмотрела помещение так, как осматривают комнату, из которой вынесли мебель, — не сердито, а с недоумением человека, привыкшего к другому порядку вещей.

— Перегородка, — сказала она.

— Правая половина — тяжёлые. Левая — те, кто в начале.

— Зачем?

— Чтобы они не ходили друг к другу.

— Больные ходят друг к другу везде. — Она прошла вдоль лежанок, не касаясь ничего.

— Плошки перевязаны тряпицами. Тоже зачем?

— Чтобы не путали.

Госпожа Вэй остановилась у водогрейни, где стоял мой котёл, и посмотрела на него дольше, чем на всё остальное.

— А это, — сказала она, — уже не «чтобы».

Я молчала.

— Ты кипятишь воду.

— Кипячу.

— По чьему указанию?

— Ни по чьему.

Она повернулась ко мне. Ни тени раздражения на лице — и это оказалось хуже всякого гнева.

— Слушай меня, девочка. Дважды повторять не стану. — Голос у неё шёл ровный, негромкий, тот самый, каким объясняют вещи очевидные. — Канон говорит: жар лечится покоем и остужением. Больного, у которого внутренний огонь, не поят горячим. Горячее распускает телесный ток и гонит огонь вширь. Тому, кто горит, дают воду холодную, из колодца, лучше ночную.

— Госпожа...

— Я не закончила. — Она подняла ладонь, и я замолчала. — Это первое, и оно по канону. Второе — дрова. На эту луну лекарскому двору отпущено сорок вязанок. Восемь ушло на варку снадобий, двенадцать на стирку ветоши, десять я держу на холода, потому что холода придут, а вязанки не прибавится. Твой котёл съест остальные за девять дней. И в девятую луну я буду стирать ветошь в холодной, а мои приписные — болеть.

Она сложила руки в рукавах.

— Ты видишь одну беду. Я вижу двор целиком. Это не упрёк, это разница положений.

И вот тут во мне что-то оборвалось.

Потому что она была права по всему, что видела, и неправа по единственному, чего не видела, и объяснить ей это можно было ровно одним способом — тем, которого у меня не было.

— Воду кипятить, — сказала я. — Всю. И питьевую, и ту, в которой моют посуду.

Тишина в бараке сделалась плотной.

Собственный голос дошёл до меня со стороны, вместе со всем, что в нём прозвучало для остальных.

Приписные не приказывают. Приписные говорят «как скажете, госпожа».

Госпожа Вэй смотрела на меня очень внимательно. Долго. Так смотрят не на дерзость, а на несоответствие: вещь лежит не там, где ей положено, и надо понять, кто её переложил.

— Вот как, — произнесла она наконец.

И улыбнулась.

— Котёл убрать. Дров не жечь. Воду брать из колодца, ночную, как велит канон. — Она пошла к двери и у порога обернулась, и голос её стал мягче прежнего, почти тёплым. — Отдохни, девочка. Ты после отравления не в себе. Это бывает.

Дверь за ней затворилась.

Цю подошла и молча унесла котёл.

* * *

Ночью я взяла Тао за плечо и вывела за угол водогрейни.

— Слушай внимательно. Один раз.

— Ага.

— Котлы стоят пустые до рассвета. Топка тёплая. Ты приносишь дрова — не со двора. Из-за конюшни, где сложены обрезки на подпалку.

— Оттуда нельзя.

— Оттуда никто не считает.

Он прикинул ровно секунду.

— Ага.

Носили в темноте.

Шаг лишний — гремит ведро. Кашель за стеной — замираешь. Дужки я обмотала ветошью.

Четыре котла. По два ведра.

Кипятили до бела. Снимали. Ставили под крышки в дальнем углу.

У Тао разошлась повязка. Перемотала на ощупь.

— Сестрица.

— Что.

— А если поймают?

— Поймают меня.

— А меня?

Я разогнулась над котлом.

— Тебя не поймают. Ты дрова носишь. Ты их всегда носишь.

Он посопел.

— Ага, — сказал он с явным облегчением. — Ага, правильно.

Мы закончили перед самым светом. Я села у стены и вытянула ноги, и руки у меня тряслись — не от страха, а просто оттого, что четыре котла.

Утром Цю пришла первой, наткнулась взглядом на кувшины в углу, накрытые тряпицей, и остановилась. Постояла.

Потом взяла крайний и понесла разливать по левой половине. Ни слова.

* * *

Ю встал на четвёртый день, когда над водогрейней ещё держался пар от последнего ночного котла.

Он сел на лежанке сам, без опоры, и первое, что сделал, — втянул руки в рукава, хотя в бараке стояла духота.

— Пить, — сказал он.

Я дала ему кипячёной, остывшей.

Он выпил всё и посмотрел на меня снизу вверх, и в этом взгляде не было ни благодарности, ни удивления — только деловитый расчёт мальчишки, который прикидывает, когда его отсюда выпустят.

— Мамка тоже встанет?

Я не стала врать.

— Не знаю. Её не привезли.

Он кивнул и лёг обратно, потому что сидеть было ещё тяжело.

Нянь в то утро пришла к бараку раньше своего часа. Не вошла — постояла у водогрейни, поглядела на топку, на серую золу, которой к утру взяться было неоткуда, и пошла дальше, вжав подбородок в плечо.

К третьей ночи обрезки за конюшной заметно осели, а к четвёртой Тао принёс половину вязанки и сказал, что больше пока брать не станет: конюшенные начали складывать по-другому.

Ничего ещё не случилось. Просто счёт, который я вела по книге, с некоторых пор шёл где-то ещё, и вела его не я.

Я вышла на порог, села и открыла книгу.

Шла четвёртая ночь на кипячёной воде, и садилась я считать вовсе не потому, что ждала чего-то определённого, а потому, что считать — это и есть моя работа, единственная, которую у меня в этом дворе никто пока не отнял.

На правой половине, у тяжёлых, за четыре дня умерло трое, и из девяти лежавших там осталось шестеро.

На левой половине, у тех, кто только входил в свою неделю, из тринадцати человек за те же самые четыре дня умер один. Осталось двенадцать.

Один.

Я пересчитала, водя кистью по строчкам, как водят пальцем неграмотные, потом отложила кисть и пересчитала заново, уже по памяти, потому что первому разу не поверила.

До перегородки, до меченых плошек и до кипятка в этом бараке умирало ровным счётом по двое в день, и умирали они одинаково с обеих сторон, потому что сторон тогда ещё не было. Теперь на левой половине умирал один человек за четыре дня, и разница эта не объяснялась ни тяжестью, ни возрастом, ни везением — на левой половине лежали ровно те же люди из той же крепости, привезённые тем же обозом.

Я записала обе цифры рядом, в две колонки, одну под другой, и долго на них смотрела, пока не начало щипать глаза от плоски.

Вот оно. Не довод, не рассуждение, не «жар лечится остужением» и не «канон говорит». Две колонки чисел на одном развороте, в книге, у которой есть место на полке и бирка на торце, и цифры в этих колонках сложил не я, а четыре ночи и двадцать два человека.

Такое можно показать кому угодно, и оно не станет от этого менее верным.

От книги меня оторвал чужой взгляд.

У ворот стоял человек и смотрел на барак — не мельком, как смотрят проходя, а неподвижно и уже, судя по всему, довольно давно.

Тёмно-серое. Правая кисть в левой ладони.

Сколько он там простоял и что успел разглядеть — бог весть.

Он развернулся и ушёл, ничего не сказав, и на этот раз сомнений не оставалось: меня он разглядел.

Сколько.

За мной пришли в час, когда обычно разносят утреннюю воду.

Двое в холсте, те же, что в первое утро. Один поглядел мимо меня в барак, на угол за перегородкой, где под тряпицей стояли остывшие кувшины, и ничего не сказал.

— В палату совета.

— Не в палату разбирательств? — Разница между этими двумя комнатами была мне пока неизвестна, но само существование разницы уже кое-что значило.

— Сказано — в палату совета.

Я вытерла руки, сняла с колена книгу лекарского двора и взяла её с собой.

Тао догнал меня у водогрейни и пошёл рядом, не глядя, будто по своим делам.

— Нянь вчера к госпоже ходила. — Тао смотрел прямо перед собой. — Вечером. Долго была.

— Хорошо.

— Чего хорошего-то? — Он покосился на меня и чуть не сбился с шага.

Ничего хорошего. Просто стало понятно, чего именно ждать, а понятное всегда лучше непонятного, даже если оно хуже.

— Ступай, — сказала я. — И сегодня не приноси ничего. Совсем ничего.

Он посопел и отстал.

Двор я прошла медленнее, чем нужно, — не от страха, а чтобы уложить в голове порядок. У меня в руках лежала книга с двумя колонками. Больше у меня не было ничего.

Пять дней назад в такой же палате мне зачитали обвинение, и стало ясно: оправдываться бесполезно, записывать всё равно не станут.

С тех пор изменилось ровно одно.

Теперь я пришла с записью.

* * *

Палата совета оказалась выше и светлее той, где меня судили: пол дощатый, окна не под крышей, а по стене, и в тех окнах стояло утро.

Госпожа Вэй уже сидела на своём месте, у боковой стены, руки в рукавах. Мо помещался за низким столом, разложив кисти, и на столе перед ним лежал чистый лист, а не начатый, — значит, писать он будет с начала и, значит, дело завели новое.

Кресло в глубине палаты пустовало.

Меня поставили посредине и назвали.

— Приписная лекарского двора.

— Изложи, — сказала госпожа Вэй, не глядя на меня.

Говорила она не мне.

Из-за моей спины выступил третий холщовый — тот, что вчера считал вязанки за конюшней, — и заговорил ровно, по бумажке, которой у него в руках не было.

— Восемнадцатого дня приписной было указано котёл убрать и дров не жечь. Девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого и двадцать второго в водогрейне до рассвета топили. Зола свежая, тёплая, четыре утра подряд. Обрезки за конюшней убыли на три вязанки, счёту они не подлежат, потому идут отдельной строкой. Кувшины с кипячёной стоят в бараке за перегородкой, накрытые.

Он замолчал.

— Записал? — спросила госпожа Вэй.

— Записал. — Мо дунул на строку.

Госпожа Вэй наконец повернулась ко мне, и в лице у неё не было ни торжества, ни злости. Была усталость, та самая, что и в первый день.

— Тебе было велено, — сказала она. — При свидетелях, в твоём же бараке. Ты слышала и не переспросила. Стало быть, поняла.

Я молчала.

— Приписная, послушавшаяся прямого распоряжения старшей лекарки, отстраняется от больных. Дальше — по разбирательству, которое и без того на тебе висит. — Она помедлила. — Скажешь что-нибудь?

Я стояла и считала.

Не удары и не людей. Я считала то, чего у меня нет, и получалось так.

Свидетеля нет. Знака нет. Права говорить нет. Того, кто пришёл бы сюда ради меня, — нет.

И бесполезно объяснять, что кипятила я не назло, а потому, что иначе они умирают, — потому что «умирают» здесь давно перестало быть доводом, к нему привыкли, оно шло фоном, как шум воды.

— Молчит, — сказала госпожа Вэй в сторону Мо. — Пиши: не отрицала.

Кисть пошла по бумаге.

И в эту минуту в палате стало на одного человека больше.

* * *

Он вошёл без объявления, и никто не назвал его имени.

Просто холщовые у стены выпрямились, госпожа Вэй поднялась, Мо привстал над столом, а человек в тёмно-сером прошёл через палату к креслу в глубине и сел, и вся эта комната перестроилась вокруг него, как перестраивается вода вокруг брошенного камня.

Я осталась стоять посредине, потому что мне вставать было неоткуда.

— Продолжайте.

Госпожа Вэй изложила заново — короче и суше, чем в первый раз. Он слушал, разминая правую кисть левой ладонью, и по лицу его нельзя было понять решительно ничего.

Когда она закончила, он посмотрел на меня.

— Сколько?

Вопрос дошёл до меня не сразу: за семь дней в этом дворе мне не задали ни одного, требующего ответа по существу.

— Двадцать шесть привезли, господин канцлер. Четырнадцатого дня. Живых сейчас восемнадцать.

— Умерло пятеро. За восемь дней.

— Нет, господин канцлер. Умерло восемь.

Мо поднял голову от бумаги.

— Трое из них вынесены ночью, между семнадцатым и восемнадцатым, и нигде не отмечены, — сказала я. — Я вписала их в книгу лекарского двора задним числом, с пометкой, что тел не осматривала.

В палате сделалось тихо.

— Дальше.

— Больные разложены по двум половинам, через перегородку. Слева — те, у кого болезнь в начале, было тринадцать, осталось двенадцать. Справа — тяжёлые, было девять, осталось шесть. С девятнадцатого дня левая половина пьёт только кипячёную воду, правая — какую дают.

— И?

— За четыре дня на левой половине умер один человек из тринадцати. На правой — трое из девяти.

Он помолчал — недолго, но заметно: складывал.

— Разница может быть от тяжести.

— Может, — согласилась я. — Но обе половины из одной крепости и приехали одним обозом. До перегородки в этом бараке умирало по двое в день, и умирали одинаково с обеих сторон.

— Откуда цифры?

Я протянула книгу.

Один из холщовых взял её у меня и поднёс. Канцлер раскрыл, полистал не глядя, потом остановился и посмотрел уже внимательно — на разворот с двумя колонками.

— Кто вёл?

— Я. — Отступать было и некуда, и незачем.

— Приписная не ведёт книгу лекарского двора. — Госпожа Вэй произнесла это в сторону, ровно, как поправляют оговорившегося.

— Книга не велась с двадцать девятого дня шестой луны, — сказала я. — Я не отнимала её ни у кого.

Он не оторвался от разворота.

— Сколько дней до того, как заболевший ложится?

Вопрос был не про воду. Вопрос был про то, чего он на самом деле хотел.

— От семи дней до двух недель, господин канцлер.

— То есть тот, кто пил ту воду сегодня, ляжет через неделю.

— Да.

— В Бэйгуане шесть тысяч человек.

— Да, господин канцлер. И пьют они каждое утро.

Вот тогда он закрыл книгу пальцем на нужной странице.

— Повторите про воду. Другими словами.

Он не тугодум и не издевается. Он проверял, не рассыплется ли то же самое, сказанное иначе.

— Люди верхнего лагеря берут воду в одном месте. Нижнего — в другом. Из одиннадцати опрошенных десять стояли наверху, одиннадцатый ходил туда через день. Наверху есть отхожие ямы выше по склону, чем водозабор. Больше ничего общего у этих людей нет: ели разное, спали в разных палатках.

— Вы это записали.

— Записала.

— Когда? — Он спросил это, не отрываясь от разворота.

— Восемнадцатого дня, господин канцлер. До того, как мне запретили кипятить.

* * *

Он закрыл книгу и положил её на подлокотник.

— Госпожа Вэй.

— Господин канцлер.

— Ваше распоряжение о котле остаётся в силе для лекарского двора.

Госпожа Вэй наклонила голову, и я успела почувствовать, как во мне что-то оседает вниз.

— Что до чёрного барака, — продолжил он тем же тоном, — приписная остаётся при больных. Дрова на её котёл отпускать из войсковой доли, не из вашей. Разберитесь между собой сами, кто это будет записывать.

Тишина стояла как раз до той черты, за которой возражать уже поздно.

— Господин канцлер. — Голос госпожи Вэй не изменился ни на волос. — Она под разбирательством.

— Разбирательство идёт своим ходом, — согласился он. — До приговора она при больных.

Он встал, и по палате прошло то короткое движение, каким люди готовятся к уходу старшего.

— Господин канцлер. Записать это можно?

Он остановился.

Впервые за весь разговор в палате повисло что-то, чего я не могла назвать: он посмотрел на меня так, как смотрят, когда собеседник задал вопрос не из своего положения.

— Нет. Это распоряжение по ставке, устное. В протокол пойдёт то, что скажет госпожа Вэй.

— Тогда я не пойму, чем оно от вчерашнего отличается.

Мо очень аккуратно положил кисть.

Госпожа Вэй чуть повернула голову.

А канцлер — не рассердился. Он посмотрел на меня как на цифру, которая не сошлась, и от которой поэтому нельзя просто отмахнуться.

— Тем, что теперь его слышали четверо. И тем, что дрова пойдут из моей доли. Этого хватит, пока хватает.

Он пошёл к двери и на середине палаты остановился, не оборачиваясь.

— Приписная.

— Господин канцлер.

— Вы сказали: через неделю ляжет тот, кто пьёт эту воду сегодня. Если через неделю в Бэйгуане не ляжет никто — вы ошиблись, и разбираться с этим буду не я. Если ляжет — отвечать за то, что мы не сделали, будете тоже не вы.

Он помолчал.

— Одно из двух вам не понравится. Выберите заранее.

И вышел.

Госпожа Вэй поднялась следом и, проходя мимо, задержалась ровно на полшага.

— Дрова тебе дадут, — сказала она негромко, почти ласково. — Из войсковой доли. Их привезут, отпишут и запишут за тобой.

Она отвела глаза к столу, где Мо сворачивал лист.

— А отвечать за войсковую долю, девочка, — это не то же самое, что отвечать за мою.

Я осталась стоять посреди опустевшей палаты с книгой в руках, и книга эта была теперь единственной вещью в Юйлань, которая принадлежала мне целиком.

Получила я, если считать честно, ровно всё, за чем шла: больных, из-под которых меня не выдернули; дрова, которые теперь повезут из войсковой доли; и человека, который выслушал цифры и не отмахнулся от них, — а больше мне ничего и не было нужно.

И вместе со всем этим я получила долг, и долг этот сложился не перед ставкой, не перед порядком и не перед должностью, а перед конкретным человеком, который сегодня заслонил меня собственной долей дров при четырёх свидетелях и без единой строки в протоколе.

Он не оказал мне милости. Он вложился, и вложился при своих, у которых теперь есть повод спросить, зачем.

Так у меня появился в этом мире первый кредитор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.